

Венедикт Ерофеев: “безвозвратно ушли в прошлое те времена, когда меня не существовало”

Газета продолжает знакомить читателей (смотри предыдущий номер) с неизвестным или «не слишком известным» Венедиктом Ерофеевым.

ИРИНА ТОСУНЯН

В первый раз я позвонила Венедикту Ерофееву с подачи Вениамина Каверина осенью 1989 года. Незадолго до этого брала у Каверина интервью на его даче в Переделькино. Вениамин Александрович был приветлив, охот до разговоров и, в противовес нехолодной погоде, плотно упакован в дубленку, шапку и валенки. Пожилая домоправительница со страшным вывернутым веком (это веко, признаюсь, поначалу весьма меня напугало) внесла поднос с чаем и сладостями. «А вы знаете, — спросил Вениамин Александрович, с аплетитом доедая печенье, — что скоро в альманахе «Весть», к которому я имею отношение, выйдет «Москва — Петушки» Ерофеева?»...

Каверин был точен: альманах вышел, и в «Литературной газете» мы напечатали об этом небольшой материал. Вениамин Александрович помог отыскать и телефон автора «Петушков». На звонок шепотом ответила жена Ерофеева, Галина: «О каком интервью идет речь? Ерофеев болен, ему так плохо, что и не знаю, сможет ли он вообще когда-нибудь дать интервью!» Однако милостиво разрешила «позванивать». Я звонила каждый день. Сводки о состоянии здоровья были неутешительны. Но спустя две недели Галина сказала: «Хотите поговорить — приезжайте немедленно!».

Примчавшись на Флотскую, 17, на тринадцатый этаж, я была введена в маленькую, но более десяти квадратных метров комнату, где на широкой тахте, в испачканной блевотиной постели, подперев рукой голову, полужал автор знаменитой поэмы. Большие синие глаза, спутанная копна волос с проседью и марлечка на шее, прикрывающая оперированное горло. Эта марлечка, колымавшаяся при малейшем движении, пугала так же сильно, как вывернутое веко каверинской домоправительницы. Когда же Ерофеев приблизил к горлу микрофон и жуткий металлический голос проскрежетал слова приветствия, ноги мои и вовсе подкосились. Кое-как опустившись на краешек стоящего у постели кресла, я стала что-то лепетать в ответ. Привыкший, видимо, к подобной реакции, Ерофеев исподлобья наблюдал за моими попытками взять себя в руки и пил из малюсенькой рюмочки коньяк, поднесенный женой. «Видишь, из какой посуды приходится пить? Врачи рекомендовали, — объяснил он, — водку и портвейн, сказали, не пить, только коньяк, и только такими дозами. Очень помогает, когда боли. Хочешь, Галя и тебе налей такую же рюмочку?».

«Мальчик мой!» — говорила Галина, видя, как он кривится от боли, и вносила новую рюмочку. Выпив таких рюмочек несколько крадью и убедившись, что горе-интервьюерша пришла-таки в себя, инициативу разговора Ерофеев перехватил и, отпихнув письмо с вопросами и реверансами, которое я успела ему подсунуть, принялся сам меня экзаменовать. В тот день он был в ударе — шутил, острил, поднимался. И в результате не дал никакого интервью. «Может быть, вы предпочитаете ответить на вопросы письменно?» — спрашиваю. «Конечно, предпочитайю, — отвечает, — непременно предпочитайю». «Ты ведь не обманешь ее, Веничка?» — воркует отчего-то проникшая ко мне Галина. «Нет, эту деваху я не обману!» — бодро скрежещет Ерофеев. Галина с сомнением качает головой, а «девах», окрыленная, упархивает.

Дни идут за днями, обещанных ответов нет, по телефону — уверения: «Завтра — обязательно...» И хотя уже понимаю, что — «ни завтра, ни послезавтра...», звоню вновь и вновь. Наконец не выдерживает Галина: «Слушай, тебе вправду интервью нужно? Тогда приезжай сама! Ты до сих пор не поняла? Он писать не будет». Снова мчусь на Флотскую, не успев даже известить об этом нашего фотокорреспондента Владимира Богданова (эту мою оплошность он до сих пор мне не может простить). Ерофеев — аккуратный, причесанный, выбритый. Постель — белоснежная. Поднимается с тахты. Переходим на кухню, где у окна — маленький стол, а по стенам — полки с книгами. «Смотри, какие у меня книги!» — хвастает Ерофеев. — Замечательные! Эта вот недавно там вышла. «Моя маленькая ленинана»... Я с трепетом включаю диктофон и устанавливаю на столике между нами, но так нервноичаю, что решаю на всякий случай дублировать запись в блокноте. Беседуем долго, Ерофеев говорит медленно, с паузами, пленка крутится, я тоже успеваю записывать ручкой практически дословно, и, исписав пухлый блокнот, довольно улыбаюсь. А когда включаю для проверки диктофон, хороший, добротный, никогда еще меня не подводивший диктофон «Sony», оказывается (мистика какая-то), что голос Венедикта Васильевича не записался, ни слова нет, лишь легкий гудящий звук.

Через неделю приезжаю вновь с готовым уже материалом и бутылкой армянского коньяка, которую дала себе зарок обязательно принести. Ерофеев открывает дверь самолитично, и я, впервые видя его во весь рост, поражаюсь, какой он высокий. Галины нет, но вот-вот будет. Сегодня у них выход в свет, некое мероприятие в Союзе писателей, связанное с Ерофеевым. Виновинок предстоящего собрания одет в синие джинсы, синюю рубашку (под чужд глаз), синие носки и готов к выходу. На кухне его уже дожидается какой-то немолчаливый господин, и Ерофеев быстро прерывает привезенную статью и внизу пишет: «Годится. Достоверно. Не очень глупо. Вен. Ероф.». Радости моей пределов нет...

В редакции «Литературной газеты», куда я возвращаюсь и сдаю материал, из него вырывают целые куски. Крамола! «Как это возможно — мерить значимость собрата-писателя тем, сколько он, Ерофеев, наляет ему водки?!» «Как это возможно — так говорить о МГУ?!»... «Рубит» сам замглавного, курирующий литературные отделы. На мои стелания и крики о пощаде спокойно отвечает

«Хочешь, вообще не будем печатать?» Я не хочу! Я этого совсем не хочу и потому бегу звонить Ерофеевым. Говорю с Галиной. Та что-то вяло отвечает: Ерофееву снова нехорошо. Статья выходит кастрированной 3 января 1990 года. Ерофеев больше слышать обо мне не желает и разговаривать отказывается наотрез. Я, вспоминая его обычные шуточки и педантичность, с которой он все-все записывает в свои дневники и записные книжки, холодею, представив те эпитеты, которыми он меня теперь награждает. Два месяца спустя Ерофеев смилостивился и сделал вид, что простил. Повторил только уже брошенную в интервью фразу: «Не понимаю, отчего вы все такие «зачехленные»?..» Светлый человек Венедикт Ерофеев умирал нехорошо, долго, мрачно. Болезнь (рак горла), начавшаяся летом 1985 года, ко времени нашей встречи уже довела свою жертву. Оставались считанные месяцы. Ерофеев больше жить не мог, хоть вкус к ней, к жизни, у него не пропал, а склонность к иронии — тем более. В те дни все вокруг обсуждали перипетию скандала, разразившегося вокруг журнала «Октябрь» и его главного редактора Анатолия Анянueva. В печати бурили страсти, особенно старались газета «Литературная Россия» и журнал «Наш современник». Как же, именно в «Октябре» были напечатаны главы из «Крамольной» книги Андрея Синявского «Прогрулки с Пушкиным». Ерофеевы тоже обсуждали эту ситуацию. «Как ты думаешь, — спросила меня Галина, беспокоившаяся за судьбу Анянueva, — что они с ним сделают?» Ерофеев отреагировал мгновенно: «А ничего не сделают, ну, подумаешь, повесть его, а на грудь табличку прикрепят: «Наш современник».

После его кончины я часто общалась с Галиной Ерофеевой, пережившей, впрочем, mucho всего на несколько лет, однажды шагнувшей с балкона того самого тринадцатого этажа в «космос», именно в тот день и тот час, когда, по каким-то ее загадочным расчетам, должна была состояться «их с Веничкой космическая встреча». Она часто приходила ко мне в редакцию, приносила «на хранение» ерофеевские архивы, записные книжки, дневники, даже конверты с деньгами, которые вдруг стали к ней стекаться: гонорары за поставленные у нас в стране и за рубежом пьесы мужа.

Я хранил тот первый блокнот (он уже, правда, вовсе не пухлый, облетела и куда-то затерялась мягкая обложка) и другие записки и материалы как зеницу ока. С тех пор кое-что уже напечатано. В том числе и злополучные, заброкованные строгим редакционным цензором отрывки. Но остались записи, которые так никогда и не были опубликованы. Возможно, пришло время вернуться к «пухлым блокноту» еще раз, напечатать все — от начала до конца.

Венедикт Васильевич, вам, наверное, нестерпимо хочется работать?
Еще как! Именно поэтому хочу уехать в Абрамцево, собрать свои тридцать с лишним записных книжек и блокнотов — и в Абрамцево!

А какие-то определенные наметки есть?
Даже две. Одна — пьеса «Фанни Каплан», которая почти готова. Уже на Западе было сообщено, что она вот-вот выйдет в журнале «Континент». Вторую пьесу, «Диссидент», готов принять к постановке Театр на Малой Бронной. Это уже не трагедия, а чистейшая комедия. И в прямом, и в переносном смысле. Мне уже звонили и сказали: «Слушай, Ерофеев, зачем с таким материалом обращаться таким юмористическим образом? Пьеса о жизни шестидесятых годов. Поэтому у меня двойная цель в Абрамцево — закончить и «Диссидент», и «Фанни Каплан», трагедию в пяти актах, где вообще из героев ни одного в живых не остается. Мне говорили о «Вальпургиевой ночи»: «Ерофеев, ты хотя бы пожалел и нескольких людей оставил в живых!».

А здесь ни одного не остается.
А почему?
Потому! Режиссер Портнов сказал, что это невозможно поставить на сцене. Все действие происходит в пункте приема броневой посуды (нет лепажевых орудий — есть бутылки).

Как же Портнов будет ставить, если говорит, что не может?
Понятия не имею. Упростит опять до предела. И все-таки хочет ставить. Ему ведь надо поднимать театр. Их готовность меня порадовала.

А из прозы что-то новое пишете?
Есть кое-что недоделанное. Черновиками у меня забит стол. Даже, вернее, их черновиками называть нельзя — это еще что получится! Думаю заниматься очень веселым делом: составить набор цитат из Маркса и Энгельса с небольшими авторскими комментариями. Это никому не притиснет. Грабяр, когда был у меня в гостях, сказал: «Если бы даже на «Маленькой ленинчане» не было твоей фамилии, я бы безошибочно понял, кем это написано».

Как получилось, что вы, Ерофеев, так рано стали «зрячими»?
Этого я и сам не понимаю. И потом, не так рано я стал, как ты говоришь, «зрячим». Только в десятом классе. Мне было уже шестнадцать лет. А почему — понятия не имею. И еще более «зрячим» стал после поступления в Московский университет. Тут опрокидывающее действие оказалась первая любовь. Авторы всех статей обо мне упускают самое главное — то, о чем я сейчас говорю, я говорил уже на первом курсе. И это вовсе не пустяк.

Встретил как-то своего одноклассника... До чего же невозможно они себя ведут! Так нельзя, надо вести себя посветлее! А они стали, как говорят артиллеристы, «зачехленными». Я им сказал как-то: «Ну почему вы все паскуднее год от года? Побойтесь ели не Бога, то хоть меня!». Все хотят выйти в крупные начальники. Так вот, встретил как-то своего одноклассника, он сказал: «Ерофеев, когда я буду крупным начальником, ты будешь лежать под забором (это был 1968 год), и я со своим дипломатом пройду вдоль тебя — и сплуну».

И стал?
В том-то и дело, что его до сих пор никто не знает.

В 1988 году в Лондоне был периздан «Энциклопедический словарь русской ли-

тературы с 1917 года» Вольфганга Козака. Это, пожалуй, пока единственный справочник, где говорится о вас, но многие сведения не верны. Что бы вы сказали о себе для будущего справочника?
Мне скоро 51 год, 24 октября. Папенку посадили, у них это было принято: по системе Кановича сажать! Так что сажали дважды! — в 1940-м, потом в 1946-м. И почему мои глупые сестры скрывают, по какой статье?.. Важно, что в 1954 году отца освободили. Мне он понарасказал такое, что тебе и не снилось. То есть, что это такое — быть начальником станции, которую занимают то русские, то финны, то немцы, а потом все снова, и при этом исполнять свои обязанности. А я-то, дурак, когда видел в небе самолеты — то финские, то немецкие, — махал платочком и приплясывал. Мне было ровно три с половиной года.

Отцу было дьявольски плохо занимать должность начальника станции, которая то в одних руках, то в других, и в конце концов стать «предателем родины». Это теперь понять трудно.

С первого по десятый класс у меня не было ни одной четверки, а когда хлопотал одну, мама меня била по попочке.

Кочил школу и впервые в жизни пересек Полярный круг, поехал поступать в МГУ. Ехал в поезде и про себя пел песню Долматовского «Наш дворец — величаява крепость науки». Когда я пришел в эту «величавую крепость», услышал: «По отделениям! Делай — раз! По отделениям! Делай — три! Руки по швам!».

И был немедленно разочарован. Но за три семестра у меня опять не было ни одной четверки. И все же меня отчислили.

А потом — работал. Сначала — на стройке, затем — грузчиком, потом — приемником винной стеклотары, потом — забыл, как называется должность, — на Украине. Плюнул на Москву...

В «Словаре» о вас есть и такое утверждение: Ерофеев, «по слухам, знает латынь, любит музыку. По имеющимся сведениям, он рано стал алкоголиком...»
Ну, какой болван! Он ничего не понимает ни в музыке, ни в алкоголизме! Музыковед Леонтович тоже говорил мне: «Я что-то не понимаю, как можно одновременно и пьянствовать, и почитать сложную музыку? Одновременно интересоваться делами, которые происходят в Навмиби, и стрелять бормотуху?». Чтобы все это соединять — им и не снилось!

С латынью ладил всегда. Я ее не знаю, но я в нее влюблен. Если бы меня спросили, в какой язык я влюблен, то выбрал бы не французский, а латынь. Недавно, в 1984 году, кончил Курсы немецкого языка на Дорогомиловской. Сдал на «отлично» все экзамены.

Вы ведь и в студенческие годы писали прозу?
Конечно. «Записки психопата». Мне студенты об этой вещи говорили, что это невозможно, что так писать нельзя. «Ерофеев, ты хочешь прослыть на весь институт?» Я отвечал: «У меня намерение намного крупнее».

А когда дали свое первое интервью?
Убей, не помню.

Что изнаписанного дороже всего?
То, чтс мне надлежит написать, это гораздо важнее. Я это говорю без всего того, чем люди люют обволакивать свои фразы.

Любите читать о себе рецензии?
Они все настолько никудышны!.. Еще в «Ноем мире» — ничего, тепло написано, а в «Знамени»... Лакшин... я-то думал, что он умный мужик, а это все — пустышка. Рецензии пустые. Они меня интересуют на час-полтора. Я еще не видел ни одной путной статьи. Только одна диссертация из Швейцарии.

В «Словаре» сказано также: «Судьба его неизвестна...»
Мало того, мрачно пошучу. В 1986 году «Немецкая волна» сообщила, что скончался русский писатель Венедикт Ерофеев(*). А я в это время беру зеркальце, дышу — в нем действительно ничего не отражается. Я тогда сказал: «Если меня приговорят к повешению, я через час встану и дальше пойду!». Это черный юмор, но в самом деле так.

В одном из ваших интервью есть слова: «С языком просто, мой антиязык от антижизни...»
Подобные фразы я не произносив. Зачем приписывать совсем не свойственные мне фразы? Что они все ишт — «антиязык», «аллюзии»?.. Неужели нельзя выражаться человеческим языком! Когда мы им напомним, что есть просто русский язык. Для меня самое главное не то, что не прав их стиль, не права их победоносность.

Давайте поговорим о литературе.
Что такое вообще литература, я не знаю.

А кто оказал на вас влияние?
Сначала, конечно, Гоголь, в этом не стыдно признаться. Неможно — Мопассан. Но не Золя, которого я терпеть не могу, я не люблю бездушия. Я это сразу определил. А Мопассан, да, влияние оказал — и в определенных вещах, и вообще как Мопассан. Больше всего мне нравится «На воде». Я даже не подозревал, что эта вещь потрясла Льва Толстого. Недавно прочитал его переписку и подивился единству взглядов. Меня интересует английская литература начала прошлого века, от Байрона до Вальтера Скотта (не как романтист, а как поэт в блестящих переводах нашего Жуковского).

А если говорить о Библии?
Меня за чтение Библии даже изгнали из Владимирского пединститута весной 1962 года. На улице во Владимире ко мне подъехала черная «Чайка», воззлеи меня на четвертый или пятый этаж какого-то здания: «Берегитесь, Ерофеев, всех людей, с кем вы знакомы, ждут неприятности. Даем двое суток на разъяснение и на то, чтобы вы покинули нашу область!». Я Библию тихонечко держал в тумбочке общепития ВПГИ, а те, кто убирал в комнате, ее обнаружили. С этого началось Мне этот ужас был непонятен, ну, подумаешь, у студента Библия в тумбочке! Я помню громадное всеобщее собрание института... Я тогда возглавлял ребят, которых почему-то называли «попами».

Из-за Библии?
Не знаю. Но были другие — «комсомольцы». Доходило до рукоприкладства, стенка на стенку. Тогда главарь «комсомольцев»

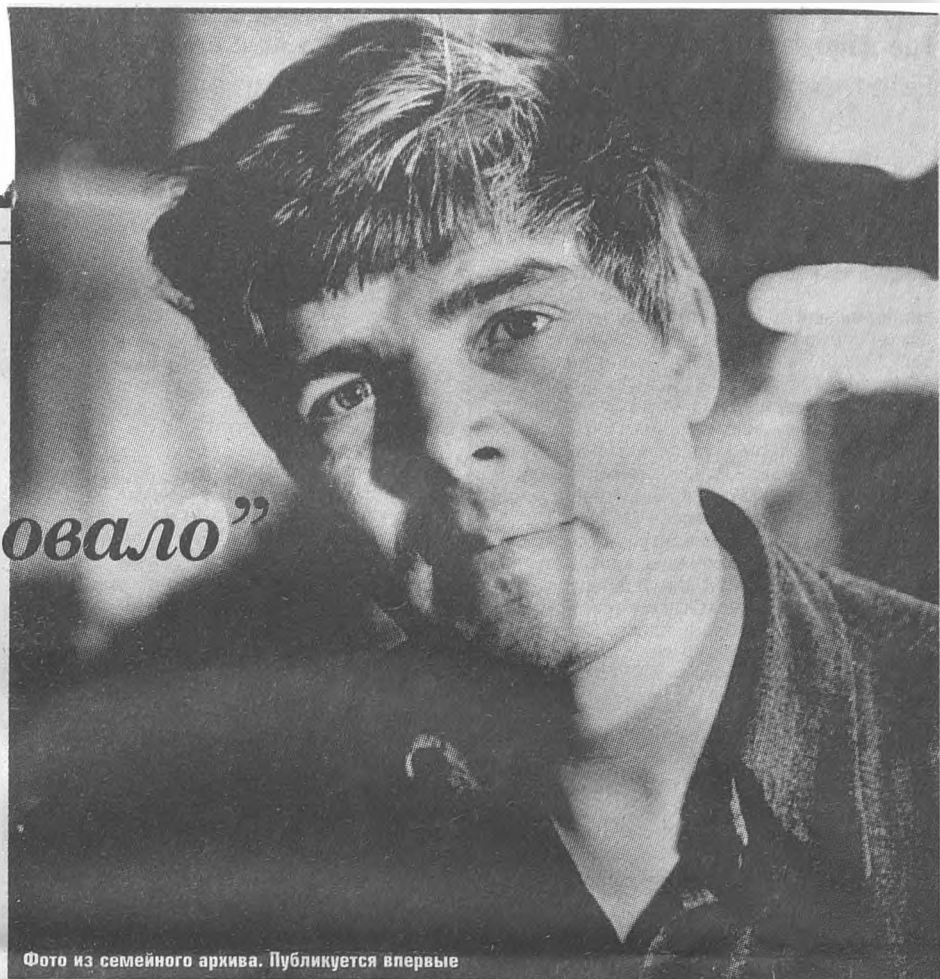


Фото из семейного архива. Публикуется впервые

сказал мне: «Давай сядем за стол переговоров, чтобы разрешить все это мирным путем». Но пока мы сидели за столом, началось мордобитие между «попами» и «комсомольцами».

Что для вас Библия?
Это то, без чего невозможно жить. Я жалею людей, которые ее плохо знают. Я ее знаю наизусть. Этим могу похвалиться. Я из нее вытянул все, что только может вытянуть человеческая душа, и не жалею об этом. Человечка, который ее не знает, считаю чрезвычайно обделенным и несчастным.

Мне очень не нравятся праведные речи Василия Белова по радио. Я сегодня еще раз послушал его выступление. Знаю его как писателя — и не люблю. Он вдруг ударился в антисталинизм. А где он был раньше? Я измеряю размах и значимость писателя тем, сколько бы я ему налил, если бы он вошел в мой дом. Отчего бы не мерить такой меркой?

Белову я бы не налил ни капли. Астафьеву — 15 граммов, Распутину — граммов 100. Василию Быкову — целый стакан с мениском. А тем более Алесю Адамовичу. А больше и некому. Фазиль Искандер пусть сам бегаает за выпивкой в своих тренировочных штанах. Я его не люблю за его невлюбленность ни во что и любование самим собой. О ком еще говорить? Неужели об Айтматове, которого я удивил бы своими руками?

Не находите, что это максимализм?
До какой-то степени. Если живешь в такое максималистское время, отчего бы не говорить максималистски? Надо во что бы то ни стало, когда бы ни жил, быть, по мере сил, честным человеком. Если и трудно.

Каждый писатель может сказать, что живет в максималистское время...
Тому же Блоку казалось, что его время экстремальное, последнее. Все времена — максимальные и последние, и, однако, ничего не кончается. И потому главное — не надо дешевить! Мне очень понравился его, Блока, финал, когда к нему подослели двух красноармейцев. Зинаида Гиппиус сызвила: «Почему — двух? Надо было — двенадцать!». Молодец Зинаида Гиппиус, я ее люблю и как поэта, и как личность. Если бы я заполнял анкету «Кто из русских женщин вам по душе?», я долго бы рыскал в своей неумной голове и сказал: «Зинаида Гиппиус».

А из мужчин?
Все-таки Василий Розанов. Его наконец-то начинают понимать. Мог похвалиться, что я первый обратил на него внимание, когда о нем страшно было даже говорить. Прочел несколько его «Опавших листьев». Многие московские литераторы сейчас пишут на темы российской истории, морали, о российских судьбах... Я им дал понять, что Розанов более чем за полвека до них сказал об этом крупнее, ярче. Когда я был в гостях у Александра Кушнера, говорил об этом. Тогда же познакомился с Андреем Битовым. Явился Битов с двумя бутылками. Он понемногу тускует. Во всяком случае, при последней встрече я сказал, что мне его читать скучно. Он ответил: «Что делать, я не могу писать так весело, как ты». То есть дал понять, что в нем заложена такая глубина, что таким поверхностным людям, как Ерофеев, читать скучно. «Я не был на дешевую сенсацию!» — сказал. Как будто я — быю.

Кушнера люблю, мне понравился он тем, что когда в 1975 году звонил из Ленинграда, то признался: «Я единственный раз в жизни перепилился, когда вы, Ерофеев, были у меня в гостях». Он иногда бывает слишком антологичен. Я его тогда обвинил в отсутствии дерзости. Для писателя это, по-моему, необходимое качество. Он согласился.

А с кем чувствуете духовную близость?
С могучим белорусом Василем Быковым. И еще Алесем Адамовичем. Отличные мужики. Маленькое расположение испытываю к Распутину, и то не очень большое. Меня многие обвиняют в излишней глобальности. А их можно обвинить в том, что они слишком «байкальничают».

А вы следите за молодыми?
Они ко мне неэжуют. Мне кажутся наиболее перспективными Друк, Иртеньев, Коркия. По-моему, эта струя поэзии перспективнее всего.

А представители «другой прозы»?
В этом я не искусен.

А в литературной борьбе?
Вещи подобного рода от меня ускользают, я на них не обращаю внимания. Это примерно вещи того же рода, что и перемещения в Политбюро. Эти люди этим живут. Я схватился за голову, когда прочитал в «ЛГ», что в связи с 200-летием Аксакова создана комиссия — громадная комиссия. Им что, делать нечего? Состав от Бондарева до черт знает кого — на полстранцы. И все для того, чтобы заседать. Скоты неумные.

Как вы относитесь к Булгакову?
Прохладно. Мне не нравится. Я до сих пор не прочел «Мастера и Маргариту». Дохожу до 38-й страницы и не могу, мне невыразимо скучно. И одержимость остальных я мало понимаю. Мне также неваистен Эрнст Хемингуэй. Я прочел его двухтомник, и меня чуть не выворотило наизнанку.

А в XX веке кого любите?
Кафку, которому многим обязан. Фолкнера («Особняк»). Но только не этого дурака Хемингуэя.

А Набоков нравится?
Еще бы! Никогда зависти не знал, как говорил Сальери, а тут завидую, завидую.

А у него равнодушие не замечаете?
Нет, нет, нет!

На полчасе рассмешил Войнович. Я перечел заново «Чонкина» и, правда, полчасца хохотал. Но ведь тут же и забыл. Правильно ска-

зал Станислав Лем в «Книжном обозрении», что он вульгарен и мало имеет вкуса.

А Солженицын? Он вне абонемена? Что может дать сейчас публикация «Гулага»?
Ребяткам вроде моего 23-летнего сына она необходима до разреза. А те, кто поглупее, может, поумнеют.

Вы перечитываете ваши вещи?
Иногда перечитываю. Понимаю, почему вторым изданием вышли «Петушки». Из всего написанного они мне больше всего нравятся.

А когда их перечитываете, что испытываете?
Смеюсь, как дитя.

Не хочется ничего переделать, доделать? Там ничего не надо менять.
А если бы «Петушки» не были написаны, вы их смогли бы написать сейчас?
Пожалуй, нет. Тогда на меня нахлынуло. Я их писал пять недель и пять недель не пил ни грамма. И когда ко мне приехали друзья и сказали: «Выпьем?», я ответил: «Стоп, ребята, мне не до этого, нужно закончить одну гениальную вещь». Они расхохотались: «Брось дурака валять! Знаем мы твои гениальные вещи!».

О чем вы жалеете?
У меня есть куча идей, рассыпанных в моих записных книжках, до сих пор не реализованных. Чтобы их реализовать, нужно перестать быть таким урбанизированным. С утра до вечера гости. У меня нет ни одного дня свободного.

Говорят, у вас пропал роман «Шостакович». Не возникало желания его восстанавить?
Было. Я пробовал. Но получилось то, что примерно получилось у большевиков из Российской империи к лету 1918 года — крохотная Нечерноземная зона. И я свою попытку тихонько задувнул в отсек своего стола.

А вам не снятся ваши тексты?
Еще как снятся! Как вы угадали? Практически еженощно снятся, я не преувеличиваю.

А что было толчком к написанию «Вальпургиевой ночи»?
Ко мне опять же приехали знакомые с бутылкой спирта. Главное, для того, чтобы опознать, что это за спирт? «Давай-ка, Ерофеев, разберись». На вкус и метиловый, и такой спирт — одинаковы. Свою жизнь, собаки, ценят, а мою — ни во что. Я выпил рюмку. Чутьем, очень задним, почувствовал, что это хороший спирт. Они смотрят, как я буду окуриваться. Говорю: «Налейте-ка вотную!». И ее опрокинул. Все внимательно всматриваются в меня. Спустя минут десять говорю: «Ну-ка, налейте третью!». Трясущися с похмелья — и ведь выдержали, не выпили — ждут. Дурацкий русский рационализм в такой форме. С той поры он стал мне ненавистен. Это и было толчком. Ночью, когда моя бессонница меня томила, я подумал-подумал об этом метиловом спирте, и возникла идея. Я ее реализовал в один месяц. Мне, правда, сказали, что я зря брякнул о Британских островах, о Сакко и Ванцетти, но ладно.

А почему такая классическая форма?
И две пьесы, которые намерен этой осенью закончить, будут трагедии в 5 актах. Правда, трагедии — условно, потому что шутство и гаерство, но все равно в живых никто не останется. Только подлцы.

А к прозе не тянет?
Пока нет. Почему-то потянуло к трагедиям. Если потянуло, то, стало быть, основательно.

Постановки пьес удовлетворяют?
Не очень. Но я рад, что в марте 1989 года в «Московских новостях» спектакль был назван самым значительным событием театрального сезона. Вчера был в гостях один из актеров. Я ему говорю: «Зачем нужно было начисто еврейскую тему убирать?». Правда, оставили несколько фраз типа «Евреи очень любят выпить за спиной у арабских народов!».

А вы свою волю как-то выражали?
Знаешь, как-то мне пришлось быть главой президиума в Доме культуры «Красный текстильщик». И был вечер, где Саша Соколов читал свою прозу. Меня посадили председателем, как генерала на свадьбе. А в зале были члены общества «Память». Я и не подозревал, что это за публика. Слева от меня — Саша Соколов, это еще куда ни шло, справа — православный черносотенный священник. И, как по разыгранному спектаклю, к нему подходит другой священник и говорит: «Давайте все встанем и споем «Вечная память». И все стали петь. Огромный зал, примерно в три раза больше, чем зал Театра на Малой Бронной. А я, будучи неумным человеком, бочком, бочком вышел за дверь. Я не люблю такие спектакли. Мне больше по нутру элементарная сердечность. Саша Соколов тоже ускользнул и показал мне горлышко бутылки. Было одновременно и отвращение к зрелищу, и приязнь к тому, что показал Саша (парень отличный, но проза его мне не нравится, я ему так и врезал).

На родину вас не тянет?
Тянет, но уже поздно. Там моя сестра Тамара. Когда умерла моя матушка в 1972 году, она сказала Тамаре: «Все остальные — Инна, Борис, — они найдут свои пути. Наблюдай за самым младшим, Венедиктом!».

Почему Венедикт?
Это совершенно дикийнское дело. Брата моего покойного отца звали Венедиктом. Он с похмелья вместо вина выпил что-то, от чего скончался. И меня я его честь назвал Венедиктом.

Вот где истоки «Вальпургиевой ночи»!
Если глубоко копаться — да!

(*) В записных книжках Венедикт Ерофеев указывает другого автора этого сообщения — радио «Свобода» — и другую дату: 1983 год.